

К 80-летию В. М. Шукшина

СЕРГЕЙ НЕБОЛЬСИН

## С ЛЮБОВЬЮ, РУССКИЕ ЛЮДИ

Выхожу один я на дорогу, в местах у берегов Катуня. (Выхожу чисто мысленно: я там, честно говоря, не бывал; горный Алтай видел лишь с казахской стороны или стороны Саян, но Шукшин тянет каждого в глубь родственного хотя бы душою погрузиться.) На высоком камне, который называют Пикет, задумавшейся тенью маячит фигура. Так, может, на своём утёсе сиживал и Стенька Разин — одна из наших важных государственных величин, и величин именно не казенных, даже антиказенных, что и было Шукшину дорого. В темноте прямой июльской ночи не видно его лица. Однако облик знаком каждому.

Есть сугубо сибирские лица (так, в Валерии Золотухине узнаёшь парня-шалопая из ближайшей или даже своей деревни). Есть сугубо общенародные лица — какой-нибудь актёр Невинный: роль у него пускай и самая заваливающая, пускай он с годами и разбух до неимоверности, а всё равно расчуешь и в позднем Невинном закваску не столичную. Однако есть ещё и лицо Шукшина, который не успел за годы известности и успеха ни разбухнуть, ни войти в племя **ликующих, праздно болтающих**. Видно по нему, по этому лицу: человек коренной — и человек, вдумавшийся в книгу; человек, что называется, ума и даже “интеллекта” — и человек, многое в жизни попробовавший своими руками. И солдатско-матросскую ляжку, и шофёрскую баранку, и косу, и невод. И это человек, при всей своей московской и зарубежной славе (разные там “Канны” и проч.) вовсе не всему сыто и беспечно радующийся.

Вам знаком тип сыто радующегося лицедея? Шукшин не из таких — и когда глядишь на него, то не на своём, а на его лице **чувствуешь в скулах упрямых суровую судоргу щек**; в умных глазах нет затравленности, нет скорбной иронии иного интеллигента, живущего “среди гнусных мещан”, но нет и особой радости-сытости хлыща-бонвивана.

За его плечами — не комсомольский по сути своей ВГИК, а война-сиротство-голод-труд всероссийской всевыносящей деревни, о которой при нас ни в какую, ни мытьем ни катаньем, не хотел всерьёз начать думать город горкомов и центральных комитетов, город дач, метрополитенов и дублёнок.

Повторяю: суровая судорга щек Шукшина — что на его фотографиях, что в его всесоюзно и международно известных кинофильмах (хотя Шукшин умел, мы помним, и очень просто и мило улыбнуться) — это важное напоминание нам о его заботе и муке.

В последний раз о лице Шукшина (не могу распространяться, но решительно не хочу и промолчать): Шукшин кинематографа и Шукшин его книг — совершенно разные явления; Шукшин книг и даже маленьких рассказов глубже, острее и настоятельнее стучится в наше сознание и нашу память. Однако народ всей страны именно за достоверное лицо — и ещё, разве что, за его

достоверно простой голос безотчётно полюбил. Само лицо говорило: живёт среди нас именно такой парень, и этот парень наш, этот парень мы.

Возможны, возможны и оговорки: “Калина красная” и “Они сражались за Родину” тоже есть кинематограф, и это больше, чем просто кино; тут даже большее, чем книги Шукшина, чем его рассказы о других. Согласен. Тут его собственная судьба; однако тогда и ясно, что просто и только оговорок – оговорок вводных, походя и в скобках – здесь недостаточно. Об этих вещах и делах Шукшина надо говорить отдельно и особо, что мы под конец и сделаем.

\* \* \*

Сорок пять лет прожиты Шукшиным с нами (1929–1974); тридцать пять лет уже мы без него. Мы уже и без сурового Вячеслава Клыкова, что задумал и поставил на Пикете у Катуня помянутый выше памятник... о, да. Жизнь человека коротка, как посмотришь на многих наших самородков; а мы сами думаем медленнее и несущественнее, чем они. Но если всё же подумать существенно? За долгие десять лет до прямого расшатывания нашей страны Шукшин уже указал, насколько проедено наше бытие брежневщиной, насколько порасплодилось в нём нечисть (“До третьих петухов”). Ещё только, скажем, 1975 год, когда “До третьих петухов” печатали, – а уже, если вчитаться, и далекое ясно: целая орда хамовитых и самоуверенных, ложно и кичливо начитанных людей – она в будущем, в ещё неизвестном писателю августе 1991 года наверняка хлынет “на защиту Белого дома от косного быдла”, и тупое начальство в этих же обстоятельствах позорнейше сдаст все рубежи; а шукшинский народ ни к каким кремлям, ни на какие столичные площади к обсуждению общих судеб допущен не будет.

Наоборот! будет дальше томиться по своим “химиям” двойники того шукшинского детины, что за какой-то месяц до окончания своего срока, но вдруг вернулся в деревню под видом отпущенного на волю передовика производства – а почему? Да потому что скучно стало вдаль от своих, от родных, от родины. Будет снова какой-то цивилизованный беглый уркаган расстреливать старика с таёжной заимки, который его же обогрел-накормил и снабдил берданкой. Будет опять не при деле непомерной силы умелец, который задумал отладить заброшенный православный храм, а судьба храма никого не волнует – от иереев до городских администраций. Даже ещё укрепится звериный в жизни закон: в общей беде спасай прежде всего себя, а про брата и свата забудь, пусть выпутывается сам (вы помните шукшинский рассказ “Волки”? Проницательнейшая вещь; там подчеркнуто, что глаза хищника это не гнев и не злоба, а хладно-внравственное безразличие к жертве. Как это точно, если кто волчьими глазами видал взаправду; и как похоже, пардон, на ещё совсем не виданный Шукшиным **волчий мир капитализма** с его долговыми ямами, хищнической охраной и правоохраной, с заказными убийствами и прямым пожиранием человеческого мяса.)

Да, знал Шукшин и ярко-даровитое в русском, в родном человеке. (Зачем этого человека приняли и увлеклись называть непременно “чудиком”? Ясно, впрочем, зачем: чтобы даровито русское объявить какою-то обочиной нашего бытия, какою-то забавной случайностью и ненужностью.) Знал Шукшин за нашим человеком и тёмное. Так хотелось ему, чтобы даровитое в нашем мире расправило плечи; так немислимым ему казалось, что именно волчий закон процветёт.

Но сейчас очевидно: указал он на волчье – не зря и вполне, казалось бы, вовремя и загодя.

\* \* \*

Не уследили; не доглядели; не вспоашились (да-да, сегодня очевидна всеобщая промашка или всеобщий, в итоге, проигрыш). А не вспоашившись и от шукшинского лиризма совершенно напрасно вместо этого как-то расслабившись, упустили и потеряли что-то огромное; детям, может, никогда и не догадаться и не представить себе, какое оно, это огромное (Родина? просто наша общая жизнь?), было, а так жаль. Я даже уж не про неописуемые красоты Сибири говорю (на них слов не хватает, да они сохраняются, дольше нас, даже и на совсем обезлюдившем Алтае); и не о том речь, что овчина, что си-

лос и навоз могут сладчайше пахнуть, если кто это знает; нет, сотрясено или украдено нечто большее. Неужели его не вернуть?

Именно Шукшин с его темой — утраченное и поправное сто́ит, не насмеиваясь над посконным и дурацким, восстанавливать и возвращать в человека — ставит перед нами этот вопрос сегодня.

\* \* \*

Поднапрячься и встать, расправив плечи. Но Гулливер был опутан сотнями наброшенных лилипутами ниточек — не хуже чем канатами, — и их было не разорвать. “Калина красная”, почему её и выделяешь особняком, — она больше чем о лагернике, который решил встать на путь истинный и порвать с прошлым. Не менее тяжело, чем Егору Прокудину, было и самому Шукшину, удачливому обитателю совсем иного мира, вроде бы не преступного и вроде бы вполне благообразного.

А между тем были не только мир честного труда и мир простецких же воришек-бандитов; было **искусство нравственное и безнравственное**. (Так назывался сборник, вышедший в конце шестидесятых годов; у Шукшина там статья “Нравственность есть правда”.) Странно сегодня вспоминать, но вспоминать и осознавать надо: в одно и то же время с Шукшиным царили в том мире Эльдары Рязановы и Андреи Мироновы, Вицины и Никулины, Папановы и Аросевы, воцарялись Володя Высоцкий, Окуджава и Алла Пугачёва. Вечные студенты сыпали цитатами из Остапа Бендера, культурная общественность славилась Зоценку, который упивался нелепостью развенчанного им среднего “совгражданина”. Этому не было ни конца ни краю, не видно было оттуда и выхода.

“Погрузился я в тину обильную”, клял себя когда-то тот же Некрасов в “Рыцаре на час”. Осознавая такое, как надо было Шукшину ненавидеть мир ликующих, праздно болтающих. Как было сбросить с себя все эти нити; сбросить со своих плеч липкие объятья собственной “шмары” (стоит тебе уйти, и она тебя легко забудет и даже предаст твою память, пойдёт по рукам у нечисти). Погиб не Егор Прокудин, а в годах созревавшем усилении надорвался Василий Шукшин: сделал “Калину красную”, написал “Третьих петухов”, предупредил народ, рванулся в честный мир Шолохова (“Они сражались за Родину”) — и с этим ушёл.

Знаменательный конец, хотя и слишком ранний.

\* \* \*

Впрочем, это только версия и внешнего роста человека, и его внутренних терзаний, и его знаменательного, предлагающего нам задуматься и одумать финала. Чувствуешь, по страшному противоречию между чистой Шукшина, когда-то сельского парня, и мутью окружавшей его стихии “свободного искусства”, что терзания были неизбежны и смертельны, но о существовании их только догадываешься.

Откуда нам знать, как именно прожил свою жизнь и почему скончался герой “Сельских жителей”?

Есть у раннего Шукшина такой рассказ. Идёт сельский старик-сибиряк подкосить себе травы, случайно встречает какого-то незнакомого прохожего — тоже старик и, видать, из тех же мест. Поговорили о здешнем, о прошлом, что-то смутное вспомнили; прохожий попрощался и отбыл. Но через пару дней крестьянин получает из далёкого города телеграмму — что, вот, побывавший у вас в деревне ваш старший брат, что затерялся и пропал из виду ещё с гражданской войны, сразу после визита в родные края скончался.

А почему именно он когда-то из дому насовсем ушёл? Как он на чужбине становился на ноги, как к старости лет обзавёлся роскошной машиной “ЗИМ”, на которой посетил свою деревню? Почему именно надорвалось после этого сердце?

Может, он долго скрывался и жил где-нибудь за границей? Да нет; тогда откуда у него чуть ли не правительственный “ЗИМ”.

Может, отсидел этак с тридцать седьмого по пятьдесят шестой? Это возможно, рассказ как раз в начале шестидесятых и появился; но чего тогда он

не объявлялся дома раньше — в какую-нибудь коллективизацию, как-нибудь перед тридцать седьмым? А может, сам и творил коллективизацию-индустриализацию — и, сознавая что-то нутром, не особо хотел являться на глаза односельчанам?

Такое возможно в жизни, такое бывало и у нас. Такое вполне вероятно и для так называемой жизни в искусстве.

\* \* \*

Будучи не внутри художественной литературы, а только при ней и около, остаётся только гадать о путях неисповедимых. Нету, например, дара самому лепить чужие судьбы, как Шукшин лепил какого-то непутёвого “сураза”, набедакурившего и наложившего на себя руки. Нету, скажу честно о более мне знакомом, и счёта к нашим коллективизациям-индустриализациям в их, выразился бы какой-нибудь Войнович, трагическом смысле.

Бывает же так: ты, многогрешный, жил и работал в колхозе, махал кайлом на стройке, пыхтел на заводе, а счёта к ним нету. Но толковать чужие судьбы всё же уметь надо; и тяга перед смертью если не в сами родные места, то хотя бы подальше от лжи, и тяга к милому пределу в смысле души и правды — она любому очень и очень понятна.

У Пикета я никогда не бывал, в красоту окрестных мест только верю. Дорогое мне самому местечко не здесь, а на Енисее. Не буду разглашать и описывать — но там был когда-то молод и гулял с винтовкой в руке отец, да и я когда-то гордился: молодой и крепкий стою вот на берегу никем не укрощённой реки. Туда бы сейчас и сигануть, с той самой скалы. Разве не по-шукшински было бы, хоть в чём-то?

Однако скала затоплена Саяно-Шушенским морем. Сигать некуда. И мне отчасти близки чувства людей, ежегодно собирающихся на Алтае у Пикета. Говорят, что и это место природа или людской недосмотр как-то подтачивает: пройдут, мол, годы, и камень рухнет. Но ещё хуже подтачиванье корней, подпиливанье кем-то и намеренное иссушение их. Недолгоблывать Шукшина — удел или самих злодеев и кознодеев, или их уже безнадежно изувеченных жертв с обрубленным корнем.

Пройдет всенародный сход, к ночи утихнет округа. Приблизится к Пикету задумчивый одиночка — скажем, друг Шукшина тихий Толя Заболоцкий; а может, он придёт туда с ещё каким земляком или приятелем. Достанут из портфеля огурчик с помидором и в уединении непротокольно вспомнят прожитую в заботах, вместе с Шукшиным, жизнь. А он сверху, в ночной задумчивости, разглядит их и словно окликнет.

\* \* \*

**С любовью русские люди** — написано на клыковском памятнике. Слова обращены к Шукшину. Но и он писал так свои книги русским людям, которых совершенно зря понимают как неких суразных чудиков мировой истории.

Он пришёл напомнить людям, что воля — драгоценнейшая вещь. Недавно из уст Архангельского, Варламова и Ерофеева, от каждого в его собственной телепередаче, я слышал, что установлена, наконец, свобода и что к не-свободе не хочется возвращаться. Одновременно можно читать о “исконной русской дихотомии свобода-воля” — читать у вечных и неистребимых бердяево-булгаковичей, как сказал об этой среде Иван Солоневич.

Да, нужно покоя и воли; но что такое воля, никакая филология не объяснит, даже русская. Остаются только художественные слова, которые запоздало вспоминаются как возможный эпиграф к Шукшину, эпиграф очень верный и из уст покинувшего нас ещё раньше Рубцова:

*О, сельские виды! О дивное счастье родиться  
В полях, словно ангел, под куполом синих небес!  
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,  
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес.*

Это необъяснимо, хотя и стоит ли жить, всё понимая. Однако это драгоценно и родственно Шукшину.